

Как нас учили на филологическом факультете Башкирского университета

Б. В. Орехов

НИУ «Высшая школа экономики»

Учили нас плохо. Те, кто мог и умел читать лекции на высоком уровне, сознательно занижали планку. Но были и те, кто явно не был приспособлен для университетской работы в принципе.

Впрочем, я тогда этого ещё не понимал, и будучи по натуре доверчивым человеком, воспринимал всё как должное.

Никогда не забуду свой первый учебный день, ставший одним из главных моих потрясений в университете. В сентябре 1999 года доцент З-с., читавшая нам введение в языкознание, вдруг начала рассказ о сущности языка с понятий базиса и надстройки и их правильного соотношения. Как я потом узнал самостоятельно (в лекции не было ссылки на первоисточник), это был один из тех вопросов языкознания, на которые ответил И. В. Сталин в своей небезызвестной работе. Для антисоветски настроенного меня, воспитанного в строгих канонах ельцинизма, в этом остро чувствовалось несоответствие окружающим настроениям и эпохе в целом, эпохе, как нам казалось, безвозвратно победившего «либерализма». Это был самый яркий и отчётливый знак происходившего, оставшийся в моей памяти, но, к сожалению, далеко не единственный: целый взвод преподавателей рассказывал нам о своём предмете на уровне базы знаний 30–40-летней давности. Можно было бы предположить в них нечеловеческой силы прозорливость осторожного советского человека: времена и правители приходят и уходят, а «вечные ценности» остаются, и чем консервативнее ты будешь, тем благополучнее будет твоё будущее. Но на самом деле я лишь недавно во всей глубине осознал, в чём разгадка такого построения учебных курсов: всем этим уставшим от университета, студентов, самой лингвистики стареющим людям уже давно ничего не было нужно, они отбывали свой номер за кафедрой, практически не приходя в сознание декламируя то, что выучили много лет назад.

Итогом такого подхода стала сформировавшаяся у меня иллюзия, что во многих областях всё уже изучено, понято и достигнуто. Исследовать больше нечего. Все дела закрыты и сданы в архив, а оставшиеся частности настолько мелки, что говорить о них в учебных курсах как-то даже непристойно. На одной из студенческих научных конференций эмоциональная доцент Х. (гроза и кошмар второго курса) с восхищением хвалила выступавшую за то, что та «что-то даже придумала в морфологии», где «всё уже придумано». Сейчас, глядя на то, что происходит в современной морфологии, это очень

смешно вспоминать. Но авторитет учителей был тогда для меня неоспорим и я верил всему, что они говорили.

Апофеозом этого (скажем мягко) научного консерватизма и одновременно случившегося со мной позднее жестокого когнитивного диссонанса от столкновения с реальностью стал курс истории русского языка, читавшийся доцентом М-в. в паре с той же доц. З-с., поразившей меня марксистским языкознанием 49-летней выдержки. О том, что происходит во вверенной ей дисциплине в течение последних десятилетий, лектор М-в. не знала просто ничего. Я даже не уверен, упоминала ли она в своих рассказах берестяные грамоты (а тогда я ещё был усердным студентом и ходил на все лекции). Вполне возможно, что упоминала, но совсем поверхностно и между делом. В общем и целом курс следовал учебнику исторической грамматики русского языка В. В. Иванова, вышедшему первым изданием в 1964 году. Примерно такой же свежести были и представления, полученные нами на лекции. О древненовгородском диалекте и потрясающих историях вокруг берестяных грамот, о прорывных работах А. А. Зализняка и А. А. Гиппиуса последних лет, о законе Ваккернагеля и пр. я узнал гораздо позже и уже далеко за стенами родного университета. Потом я сильно удивлял своих московских друзей-филологов: вроде, не совсем бестолковый этот уфимец, а что такое «от гостяты» — не знает. Увлёкшись реконструкцией вообще и индоевропеистикой в частности, глотая всю скудную литературу по этой тематике, которая была в наших библиотеках, однажды я решил покрасоваться перед доцентом З-с. своим знанием этимологии слова «время», имея в виду известную версию, возводящую его к и.е. **vertmen* и таким образом устанавливающую связь между «время» и «вертеть». «Нет, — уверенно ответила на мой вопрос доц. З-с., — конечно, эти слова никак не связаны». Ведущая курс истории русского языка доц. З-с. об этой этимологии не знала.

Столь же бессмысленным и бесконечно далёким от современного состояния науки стал курс фонетики, на котором мы повторяли выученные на введении в языкознание понятия аккомодации и редукции, а также рисовали никому не нужные фонетические транскрипции письменного текста. Транскрибировать звучащую речь мы так никогда и не учились. Осциллограммы и спектрограммы мои сокурсники могли увидеть только в учебнике Реформатского или в «Экспериментальной фонетике» Златоустовой, которую своих учениц зачем-то (зачем? ведь соответствующего оборудования в университете не было) заставляла читать вечно куда-то спешащая профессор К. Акцентология даже не упоминалась.

Итогом стал вывод, что фонетика — скучная дисциплина, в которой всё уже освоено, кроме, пожалуй, суперсегментной фонетики. О том, что всё совсем не так, я мог бы не узнать никогда, как не узнало, я уверен, большинство тех, кто учился вместе со мной.

История языка началась у нас с несколько странного и во многом проходного предмета «Введение в славянскую филологию», от которого я ожидал чего-то пропедевтического. Адаптационного курса действительно очень не хватало: никто не пытался объяснить нам, чем мы будем теперь зани-

маться и чему будем учиться. Наверное, предполагалось, что это и так всем понятно, а факт выбора факультета уже результат осознанного и мотивированного решения. Со мной было не так: слово «филологический» я впервые услышал за полгода до поступления, хотел идти на журналистику и вообще не понимал, чего я хочу в этой жизни. Кажется, я был не единственной такой случайной фигурой в рядах студентов: на старших курсах я развлекался, спрашивая своих коллег по факультету, что такое филология. Разумного определения дать не мог никто. Однако введение в славянскую филологию было про другое. Оно и в самом деле было пропедевтическим, но в узкой области истории славянских языков. Мы впервые познакомились с историческими переходами (которые будем повторять ещё дважды), делением славянских языков на группы, основами сравнительно-исторического метода. Профессор Юлия Петровна Чумакова читала этот курс вдохновенно, увлечённо, но скучно. Славянская филология в её исполнении была содержательной дисциплиной, но подаваемой в каком-то разобранном виде. Было не ясно, какой концептуальный стержень держит всю эту конструкцию. Переход от проблем поиска прародины к палатализации и правилу «руки» был слишком резким. Впрочем, эта резкость могла быть и непонятна тем, кто привык к корпускулярному набору проблем славистики и не смотрел на него через острабяющую оптику неопита. Профессор Чумакова была человеком старой научной школы, она могла логично выстроить лекционный материал, хорошо разбиралась в традиционной славистике (то есть разбиралась в своём предмете, а для наших преподавателей это уже не так мало), но практическая педагогика не была её сильной стороной. Всё время она существовала в каком-то параллельном со студентами пространстве и преодолеть разделяющую нас демаркационную линию, кажется, было нельзя. И, главное, непонятно, зачем.

Блок литературоведческих дисциплин открывался античной литературой, введением в литературоведение и курсом устного народного творчества. Фольклор преподавался по традиционным учебникам в духе В. П. Аникина. Тут, по счастью, обошлось без классового подхода, но и о современной фольклористике (структурно-семиотические методы, постфольклор) мы ничего не услышали. Конечно, это был один из самых скучных предметов, который вряд ли любила и читавшая его ст. преп. Ш.

Античную литературу читал нам легенда филфака, старый доцент Г., который был настолько стар и легендарен, что многие студенты считали его профессором. Собственно, легенды свидетельствовали, что Г. — блестящий лектор. Говорил он действительно весьма выразительно интонируя и расставляя акценты в нужных местах. Но содержательно лекции были убогими: Г. рассказывал сюжеты произведений (будто в них дело!), за научной литературой по теме, очевидно, не следил, а на экзамене его фетишем почему-то были годы жизни авторов. История литературы, конечно, наука слабоструктурируемая и важное отличить в ней от неважного не так просто. Но то, что годы жизни писателей не являются сущностным для литературоведения знанием, это можно утверждать с уверенностью.

Введение в литературоведение ярко и артистично читала доцент Я. В своих лекциях она предпочитала обходить нестыковки науки о литературе, предлагала не всегда однозначные решения, слишком много внимания уделяла самым примитивным аспектам литературоведения в ущерб действительно важным вещам, но в целом эта дисциплина, пожалуй, была главным интеллектуальным событием первого курса. Её вводный характер не обязывал непременно затрагивания сверхсовременных проблем нарратологии или герменевтики (предполагалось, что мы освоим их позднее, в курсе теории литературы, чего в итоге не произошло), зато было главное: увязывание курса с общенаучным и внутрифилологическим контекстом, внушение базисной для литературоведения системы координат, выдвигающей на передний план не «идейное содержание», а понятие о форме и её семантической нагруженности.

Удачной частью учебного плана были два зеркальных курса, призывающих студентов уже в начале обучения познакомиться с современной (последних 20–30 лет) — сначала зарубежной, а потом и русской — литературой. Это были настоящие университетские предметы, ориентированные на актуальное состояние знания. Думаю, неслучайно эта часть нагрузки была передована молодым преподавателям факультета, ведь она требовала отслеживания журнальных и монографических публикаций почти в режиме реального времени, а «выехать» на чужих (или даже своих) лекциях многолетней давности было невозможно. Вряд ли уважаемые и уважающие себя доценты и профессора стали бы заниматься такой «ерундой». Курсы получились по-настоящему содержательными, много важного из того, что нам тогда рассказали, потом (по крайней мере, столь же последовательно и системно) нам не рассказали и на основном предмете о литературе XX века. Правда, качество преподавания серьёзно различалось: ассистент М. явно понимала в том, что рассказывает, на порядок больше ассистента К.

Латынь была игрой в доброго и злого полицейского. Два преподавателя, Б1 и Б2 придерживались диаметрально противоположных дидактических стратегий. Первый был хамоватым, напористым и требовательным. Ходили легенды о том, как он принимает зачёты и пересдачи поздним вечером 31 декабря. Хотя те, кто попадал к нему, будто бы действительно что-то выучивали. Второй был «добрым» и относился к своим обязанностям крайне халатно, посвящая аудиторное время досужим размышлениям о политической ситуации в стране, на которые его, конечно, провоцировали мои одногруппники. Зачёт принимал столь же расслабленно. В результате латыни я не знаю.

В учебном плане помимо западноевропейских языков имелись также обязательные часы, выделенные на один из славянских языков по выбору (чешский, болгарский, польский). Я выбрал польский, так как мой друг незадолго до этого побывал в Польше и успел научить меня всем нехорошим словам. Изучение славянского языка не было лингвистически ориентированным: мы получали базовые сведения о грамматических формах и словаре. Учили стихи и песни. Никакой типологической перспективы, просто практический язык (освоить который на должном уровне, впрочем,

за это время было вряд ли возможно). Вероятно, болгарский преподавался иначе, так как его вёл патриарх профессор В. Но свидетельствовать об этом я не могу.

Как известно, в бытовом представлении филолог — тот, кто умеет грамотно писать. Для того, чтобы мы могли соответствовать этому стереотипу, в учебном плане был предусмотрен специальный предмет: практический курс русского языка, который был весь посвящён правилам орфографии и пунктуации. Так как из-за его краткости повторить весь школьный объём правил орфографии и пунктуации не было никакой возможности, внимание уделялось только избранным сложным случаям. Судя по диктантам, которые мы тогда писали, повысить свой уровень грамотности мне это не помогло.

Бессистемным и бесполезным был курс истории книги (если честнее — истории издательского дела), читавшийся доцентом (а позднее профессором) П. Представьте, что за кафедру выходит человек и читает вам адресный справочник, добросовестно воспроизводя все названия улиц, номера домов и телефонов. Примерно так же было построено изложение, кто когда и сколько книг и журналов напечатал в России, начиная с XVIII века. Чем ценна эта информация филологу, осталось решительно непонятным. Не больше смысла было и в курсе выразительного чтения того же доцента П.

Неприятной неожиданностью стало то, что лишь немногие на факультете оправдывали моё идеализированное представление об университетских преподавателях, и дело было, конечно, не в интеллигентности поведения или, скажем, манере одеваться (тут, скорее, всё было в порядке), а во владении риторическим искусством, в утончённости языка. Избегая разговора о тех, кто был полностью дислексичен (как вечно спешащая профессор К.), скажу, что по-настоящему впечатлён я был только риторическим мастерством ассистента Р., преподававшей у нас французский язык и в начале моего второго курса ушедшей в другой университет, и профессора Ромэна Гафановича Назирова. Для них способность ясно и нешаблонно выразить мысль не была связана ни с каким видимым усилием. Именно эта естественность риторического искусства и подкупала сильнее всего.

Ещё одним удивительным явлением, с которым мне пришлось столкнуться, была пионерско-комсомольская активность со стороны некоторых преподавателей, никак у меня с университетской академической средой не ассоциирующаяся. В определённый момент директивой «сверху» было организовано какое-то сомнительное движение, ставящее целью появление у факультета собственного флага и герба, ничем, впрочем, не закончившееся. Кажется, нужно это было не столько затем, чтобы действительно создать геральдические символы факультета, сколько затем, чтобы хоть как-то занять скучающих студентов. Но ничего академического при этом никому в голову не пришло.

Кстати о комсомольских традициях. Тогдашний декан профессор Х. однажды вызвал мальчиков первого курса и предложил им съездить на дачу к его отцу, чтобы вскопать грядки (как я выяснил, подобного рода пред-

ложения поступали регулярно и нашим предшественникам). Ради справедливости, скажу, что никаких санкций к тем, кто отказался ехать (среди них был и я, малодушно сославшийся на освобождение от физкультуры), не применялось.

Самой запредельной чушью, которую пришлось прослушать во время обучения в университете, была история древнего искусства. Части моих одноклассников «повезло» начать знакомство с этим своеобразным взглядом на архаическую культуру ещё на элективном курсе мифологии, на который я не пошёл. Вместо «литературоведческой» мифологии я выбрал «лингвистический» предмет «язык и культура». Профессор С. рассказывала нам про основы провинциальной когнитивной лингвистики, которая изучает слова по данным словарей. Историю древнего искусства читала нам дама со странностями. Прежде всего эти странности касались собственно подачи материала. История человечества представлялась чередой совершенно иррациональных событий, объяснения которым можно искать только в газете «Оракул» и сопутствующих источниках.

И уж совершеннейшей мелочью на этом фоне была невинная шалость нашего преподавателя в виде желания взять себе фамилию известного итальянского художника эпохи Возрождения. В этом есть и свои плюсы. Представьте, что у вас в зачётной книжке есть роспись человека по фамилии, скажем, Джотто. И не за что-нибудь, а за зачёт по истории искусства. Вот у меня в зачётке почти так.

На этом плюсы кончались. «Велесова книга», инопланетяне, Атлантида в режиме безусловной реальной модальности представлялись факторами появления пирамид, крито-микенской культуры и Стоунхенджа. В некотором смысле академическая позиция нашей «Джотто» была насмешкой (и справедливой!) над всем остальным корпусом доцентов и профессоров филфака, не интересовавшихся современной наукой. В отличие от них она следила за «литературой» по предмету. Ирония была только в том, что круг её чтения составляла феерическая псевдонаучная ерунда.

Во втором семестре первого курса уже почти начались «настоящая» лингвистика и литературоведение. Древнерусскую литературу читала нам Людмила Ивановна Брянцева, считавшаяся специалистом по этому периоду. Её специализация себя не проявила: курс был выстроен в соответствии с традиционной схемой и не содержал в себе ничего особенного в сравнении с учебниками В. В. Кускова и Д. С. Лихачёва.

Западноевропейская литература Средневековья и Ренессанса читалась загадочной профессором И. Загадка в том, что при всех несомненных глубоких знаниях и риторических способностях научные доклады, книга и статьи её авторства всегда были далеки от свежести как мысли, так и языка, и как результат навевали смертельную скуку. Лекции были живее, но отразить в них какие-то современные или тогда недавно пришедшие в нашу науку культурологические концепции (хотя бы Хёйзинги или Бахтина) или нешаблонные примеры разбора текстов профессор поленилась. Кажется, только «Народная книга о докторе Фаусте» и Шекспир не были «по учебнику».

Лексика могла бы быть столь же скучной, как и фонетика (расширенный школьный курс, только не просто говорят, что бывают синонимы и антонимы, а ещё и дают классификацию тех и других), если бы не конспект «Лексической семантики» Ю. Д. Апресяна, который, впрочем, не попал в финальный список вопросов по курсу. Что многое говорит о возложенных на студентов ожиданиях нашего лектора доцента Е.

История языка продолжалась курсом старославянского, начавшимся теми же историческими переходами, которые мы изучали на введении в славянскую филологию и под началом той же Юлии Петровны Чумаковой.

На втором курсе все студенты должны были определиться со своей специализацией по одной из кафедр факультета. Несмотря на интерес к лингвистике, я выбрал кафедру русской литературы и фольклора благодаря тогдашнему заведующему Ромэну Гафановичу Назирову. Мне хотелось заниматься наукой, а к моменту выбора я знал, что Назиров практически единственный настоящий учёный на факультете (ещё одной величиной, на которую стоило ориентироваться, был патриарх местной лингвистики профессор В.). Всё было к лучшему: благодаря своему увлечению литературоведением я избежал опасности попадания в среду нашей провинциальной лингвистики, которая к настоящей лингвистике имеет довольно опосредованное отношение. Когда выбравшие, как и я, своей специализацией кафедру русской литературы и фольклора собрались вместе, доцент А-м. сказала нам: «Поздравляю, вы пришли на лучшую кафедру факультета». Я с ней внутренне согласился и согласен до сих пор. В 2013 году кафедра перестала существовать.

Тогда я этого не понимал, но теперь ясно, что именно второй год был лучшим с точки зрения уровня преподавания. Именно тогда мы во второй раз после проблем современной зарубежной литературы столкнулись с настоящим университетским курсом по литературоведению: историей русской литературы XVIII века. Его вели преподаватели лучшей (без иронии) кафедры факультета: сначала профессор Назиров прочёл вводную лекцию, развернув перед нашими глазами картину мирового контекста русской литературы на протяжении всей её истории от древнейшего времени до начала XVIII века. Затем несколько аудиторных часов нам посвятила доцент С., серьёзный специалист именно по этому периоду, одна из немногих ставившая себе целью следить за научной литературой и конвертировать почерпнутую отсюда информацию в лекционное содержание. Планку несколько снизила пришедшая ей на смену посреди семестра доцент А-м., персона неоднозначная. С одной стороны, в лекционном жанре ей категорически не давался план выражения: полное отсутствие артистизма, косноязычие («уже мальчиком Пушкин овладел книжным шкафом отца») не способствовали разжиганию в студентах интереса к предмету и не добавляли в их глазах авторитета фигуре преподавателя. С другой стороны, содержательно лекции были на хорошем уровне. Они не были современными, как у доцента С. (и недалеко, в общем, уходили от учебника Гуковского), но зато и не были замшелыми марксистскими, а главное, излагали картину системно, между разными темами хорошо прослеживалась связь, отнюдь не на уровне

школьного цикла «прошли писателя — написали сочинение — забыли». Первая половина XIX века была продолжением этой истории под руководством того же преподавателя.

С зарубежной литературой всё было заметно хуже, но всё же это не шло ни в какое сравнение с тем ужасом, который ожидал нас на третьем курсе. Доцент М-л. явно не обновляла свои лекционные разработки о XVII—XVIII веках с застойных времён, для которых эти лекции были, наверное, не самыми плохими. Стройность и логичность общей картины, отнюдь не лишние сведения об историческом фоне литературных событий соединялись с поначалу почти незаметными следами классового подхода. Однако чем ближе к XIX веку мы оказывались, тем больше было марксизма и меньше литературы. Бедные европейские романтики второго семестра уже вовсе оказались заложниками своих идейных ошибок и неведения социальных прозрений ленинизма. О форме, кажется, мы вспомнили только однажды: чтобы высмеять «Кота в сапогах» Людвига Тика, а всё остальное время говорили о биографии авторов, сюжетном содержании произведений и их правильной идеологической оценке. Главный вопрос, который у меня не хватило разума тогда задать себе и лектору, но который является логичным итогом такого стиля преподавания: а в чём, собственно, тогда интерес литературы? Если это простая функция от социальной истории, то what's the point?

На втором курсе во весь рост встала проблема списка художественной литературы, которую нужно было прочитать к зачёту или экзамену. Преподаватели сами признавали, что выполнить предложенный ими план невозможно, но продолжали настаивать на его исполнении. Мы делали вид, что всё прочли, они делали вид, что нам верят. Так в ситуации всеобщего лицемерия мы существовали до самого финала обучения.

Главный языковой предмет второго курса — словообразование и морфология современного русского языка, читавшийся экзальтированной доцентом Х. По сравнению с фонетикой это был значительный шаг вперёд. Студенты недолюбливали и побаивались Х. за требовательность и сложности, которые она создавала на экзамене. Но надо признать, что материал она излагала системно и последовательно, а отставание от современной научной парадигмы в её курсе было, но составляло в разы (иначе говоря: на десятилетия) меньше, чем на исторических или теоретических языковых предметах. Одна остроумная преподавательница, которая вела у нас практические занятия по этому курсу, комментировала персону доцента Х. так: «Рассказывают, что она на экзамене кинула в кого-то стул и убила. Ну, не убила, конечно. Но стул, может, и кинула». Мне не удалось сдать экзамен по морфологии на «отлично», но не по вине доцента Х. Просто я действительно не смог понять логику предмета. Даже не конкретной темы, а всей дисциплины в целом. Может быть, из-за того, что был запуган фигурой доцента Х. Деканат настоял на передаче: некого больше было выдвигать от факультета на стипендию мэра Уфы. На повторную встречу с Х. я пришёл с выданной мамой бутылкой дорогого вина, которую преподаватель не взяла и отчитала меня в свойственной ей экспрессивной манере. Но «отлично»

я получил, потому что «по сравнению с остальными» у меня всё было не так уж и плохо.

Надо сказать, что вообще с коррупцией я за время учёбы не сталкивался никогда (если не считать таковой мягкое предложение профессора Х. вскопать грядки на даче его отца). В студенческой среде ходили какие-то глухие слабой степени достоверности слухи про преподавателей других факультетов, якобы берущих взятки за экзамен, но я лично подобного не наблюдал, тем более не могу упрекнуть ни в чём таком своих учителей. Да, многие из них были бездарными и (или) ленивыми преподавателями, но стяжательства за ними не водилось.

С диалектологией знакомила нас профессор З., большой специалист по этой проблематике, что важно — с богатым полевым опытом, составитель монументального словаря говоров. Человек, безусловно, знающий, но как лектор совсем не одарённый. Она во многом напоминала Юлию Петровну Чумакову. Способности увлечь студентов у неё не было, в аудитории постоянно царил гул, подчас заглушавший речь преподавателя. Ей так и не удалось увлечь слушателей своим предметом, даже такой элемент перформанса как аутентичное воспроизведение диалектных звуков не помогало. Диалектология так и осталась для моих сокурсников лишённым поэзии, «испорченным» вариантом русского языка, сопровождаемым скучными списками отличительных особенностей северного и южного наречий. А у меня на всю жизнь с диалектной речью стало ассоциироваться слово «заседание», присутствовавшее в одном из основных текстов для практических разборов («я пришла на засиданья»).

Про зарубежную литературу XIX века от Стендаля до Золя на третьем курсе нам рассказывала доцент А-г. После окончания университета мне пришлось вести в разных уфимских вузах практически все предметы литературоведческого цикла (и теоретические, и исторические — как про русскую, так и про зарубежную литературу). Создавать эти курсы нужно было в большом количестве и в пожарные сроки. В этих условиях, конечно, велик был соблазн сократить себе путь и подсмотреть что-то в лекциях учителей. Я открывал тетради с записями и в соответствии с собственными критериями качества и содержательности оценивал, насколько информацию по той или иной теме можно было бы включить в материалы своих занятий. В этом смысле лекции доцента А-г. были уникальными. Из них извлечь нельзя было совсем ничего. Даже заглядывать в те записи было стыдно: настолько чудовищной халтурой было всё, что она рассказывала на своих курсах. Это был пересказ густо идеологически ангажированного советского (в духе 1970-х) описания тех или иных персонажей Бальзака или Теккерея, живущих «в мире наживы и чистогана», оценочная информация об их идейных взглядах и «партийности». Одним словом, про литературу там не было совершенно ничего. Зато все когда-либо слушавшие её лекции хорошо помнят звучащие на них несравненные голосовые модуляции. Можно сказать, что историю зарубежной литературы XIX века я в университете не изучал, а присутствие этого предмета в расписании было чистой фикцией.

Историю русской литературы второй половины XIX века всё так же артистично и выразительно, как и введение в литературоведение, читала доцент Я. Хотя с точки зрения системности подачи материала это, скорее, мешало. Лекции были очеркового типа: каждый конкретный писатель описывался самостоятельно. В конечном счёте сформировалась очень неровная картина, а также было неясно, связывает ли их что-то. Существует ли «литературный процесс» или вместо него только череда изолированных друг от друга творческих миров? По читавшимся нам лекциям выходило, что справедливо второе. Но при всех возможных претензиях к этому курсу, по сравнению с читавшейся параллельно зарубежной литературой он был настоящим счастьем и торжеством академического духа над беспросветной казёнщиной.

Ничего принципиально отличного не могу сказать и о стилистике в исполнении доцента Д. Всё то же последовательное игнорирование современной литературы, трактовка стилистики как примитивной прикладной области, решающей, «как правильно», и вообще, по сути, антилингвистический примат нормы перед узусом. Моя одноклассница, малопривлекательная, но упорная девушка, бывшая на факультете случайным человеком, но дотянувшая до диплома, сдавала этот предмет, рассказывая о том, как она была возмущена популярным тогда и пионерским в своём жанре реалити-шоу «За стеклом». Плачьте, Ревзина и Балли!

В магистральном курсе современного русского языка тем временем начался раздел синтаксиса. Читавшая его профессор Г. заслуженно гордилась его концептуальной стройностью. Действительно, все понятия были на своём месте, одна тема закономерно следовала из другой. Курс мог бы стать образцовым языковедческим предметом, выбери профессор Г. в качестве научного ориентира что-то более лингвистически актуальное, чем школа Г. А. Золотовой.

Мало что осталось в моей памяти от курсов русской литературы рубежа веков и первой половины XX века. Надо сказать, что воспоминания об университете уложены в моей голове в схеме обратной исторической перспективы: гораздо отчётливее в этом порядке то, что происходило в начале. Отчасти это связано с тем, что к третьему курсу я в значительной степени утратил интерес к учёбе (но ещё не к предмету филологии). Отчасти ответственность за это лежит и на преподавателях: их неспособность представить в своих курсах системное знание и попросту халатное отношение к своим предметам передавалось и мне: я переставал ходить на пары. Собственно, я позволял себе не посещать именно курсы, которые читались неинтересно. А те, на которые я всё же ходил, просто стёрлись из памяти. Время, которое я провёл в читальном зале, было многократно полезнее литературоведческой болтовни, которая раздавалась с кафедры.

Редкими по бессмысленности были лекции профессора Х. (к тому времени уже не декана) в курсе теории литературы. Преподаватель прилагал титанические усилия к тому, чтобы лишить свой предмет какого-либо интереса. Теории там было исчезающе мало. Зато лекции превращались в настоящий парад оценочных суждений, констатаций очевидного и экскурсов

в собственную биографию. Долгое время было непонятно, на чём основывается самолюбование профессора, пока однажды (совершенно вне программы и, видимо, как результат лени и нежелания готовиться к очередной лекции) профессор Х. не выдал нам поистине блестящий (без преувеличения и иронии) пример анализа новеллистического пролога «Тихого Дона». Да, лектор мог бы, если бы захотел. Но всё остальное было ужасно. На занятии о фрейдизме профессор Х. принёс газетную карикатуру на основателя психоанализа, показал её студентам и сообщил что-то вроде «Вот в этом весь Фрейд». При чём тут теория литературы, нужно было догадываться самим. Семинар по «Поэтическому искусству» Буало проходил примерно следующим образом. Читалась строфа из русского стихотворного перевода. Профессор многозначительно смотрел на аудиторию и подытоживал выразительную паузу: «Лучше не скажешь».

Столь же далёким от своего названия был курс истории русской литературной критики доцента П. Главным содержанием предмета была поездка лектора в Гурзуф. Доцент П. клялся больше никогда не есть пирожки, которые продавали частные торговцы, потому что наблюдал, как такие пирожки лепит его хозяйка, а лепила она их в абсолютной антисанитарии. Белинский и Луначарский на этом эпическом фоне появлялись лишь эпизодически, мимоходом.

История искусства XX века преподавалась профессором Ф. В давних 1980-х годах он был очень знающим специалистом, следящим не только за отечественной, но и мировой научной литературой. В какой-то момент ему, видимо, перестало быть интересно то, чем он занимался, и он убедил себя, что студентам знания в университете тоже не нужны. В итоге все лекции были прочитаны сквозь зубы с выражением полного презрения на лице ко всему окружающему.

На этом бедном фоне выразительным контрастом были курсы, читавшиеся блестящим и лектором, и учёным Ромэном Гафановичем Назировым. Мне посчастливилось послушать в его исполнении предмет под названием «Культура и религия», а также историю эстетических учений. В них было всё, чего недоставало на других занятиях: глубина, острота, системность, широкий контекст, информативность. Однажды Ромэн Гафанович прочёл, как мне тогда показалось, обычную свою лекцию, приводя на каждый тезис какой-нибудь весёлый пример. К моему удивлению, после звонка профессор Назиров извинился и был явно недоволен собой: «Простите, сегодня я не очень хорошо себя чувствовал и поэтому слишком много рассказывал анекдотов. Но в следующий раз всё будет иначе». Такая оценка была удивительной: мне казалось, что всё было по делу. И ещё удивительнее были принесённые нам, студентам, извинения. Другие-то вместо истории критики нам про вылепленные на ляжках пирожки рассказывали и извиняться не думали.

По-настоящему нелепым был предмет под названием «Лингвистический анализ текста» вечно спешащей профессора К. Дело в том, что профессор К. никогда не изъяснялась полными предложениями, постоянно себя перебивала и злоупотребляла дейктическими словами с неясным референтом.

Проще говоря, понять её было почти невозможно. Ирония в том, что одной из основных сфер интересов профессора К. была как раз спонтанная устная речь. Излишне говорить, что при таком запредельном уровне косноязычия, граничащим с дислексией, лекции в её исполнении были беспросветной коммуникативной неудачей. Тем не менее, я научился понимать проф. К. Для этого нужно было всего лишь заранее знать, что она будет говорить. Это, по сути, живой пример популярной среди части лингвистов гипотезы, согласно которой язык вовсе не предназначен для передачи информации. В этом случае точно ничего не передавал, спасало только предугадывание. На семинарах нам нужно было по любимейшей профессору К. (и отработанной в кандидатской диссертации её ученицы) схеме разбирать стихотворения. В этой схеме почему-то наравне с анализом других уровней присутствовал разбор звучащей речи. То есть дело представлялось так, будто бы чтение произведения (конечно, всегда индивидуальное) является показательным для его, произведения, внутренней организации. То очевидное соображение, что любое чтение всегда является самостоятельной интерпретацией, полностью игнорировалось. Это не было единственным случаем насилия над логикой за время учёбы, но одним из самых запоминающихся — было.

Венчал цикл лингвистических предметов курс теории языка в исполнении профессора Леонида Михайловича Васильева. Единственный шанс услышать что-то на его лекции состоял в том, чтобы сесть на первой или второй (уже некоторый риск) парте. Место на третьей парте и дальше не оставляло для восприятия речи профессора никакой возможности: настолько тихо она звучала. Курс был по-настоящему авторским и был основан на оригинальной концепции взаимосвязи уровней языка и актуальных для неё лингвистических подходов. Минусом этой стилистики было то, что про актуальные в мире лингвистические теории вроде генеративистики, функционализма или теории оптимальности мы так ничего и не узнали. Возможно, они могли бы прозвучать на специальных и элективных курсах для лингвистов, которые я не посещал, но, наверное, желать услышать про них на главном лингвистическом предмете я имел право.

Несмотря на сформировавшееся у меня предубеждение против кафедры русской литературы XX века (бывшей кафедры советской литературы), её сотрудник доцент З-ц. читала лекции о второй половине века не ужасно и не глупо. Они тоже представляли литературу в развинченном виде: вот на этой полочке у нас лежит Пастернак, вот на этой Шолохов, а на той — Бродский. Каждый герметично упакован. Общая история не складывалась. В списке обязательного чтения имён было в разы больше, чем на занятиях. Как встраивать в историческую систему ещё и их — тоже загадка. От предмета у меня осталось ощущение безбрежного океана, в котором есть только несколько исследованных судоходных участков. С остальными, что называется, разбирайтесь сами. В таком случае курс из «истории русской литературы второй половины XX века» следовало переименовать в «истории про некоторых русских писателей второй половины XX века».

На лекции по истории зарубежной литературы XX века я так и не смог себя заставить ходить регулярно. По молодости лет я предпочитал «культуру один» с её неправильностями и новаторством. Но рассказ о крупнейших фигурах этой стороны литературного процесса XX века совершенно не соответствовал моим ожиданиям. Он был скучным, не очень тщательно очищенным от наследия советского литературоведения и значительно уступал в эффектности даже не слишком ярким лекциям той же профессора И. о литературе Средневековья и Возрождения. Отчасти это, наверное, было связано с тем, что к четвёртому курсу я уже был избалован хорошим литературоведческим чтением, и то, что я услышал о Кафке и Джойсе, лучшие образцы авторитетных для меня работ никак не напоминало.

Прошло больше 10 лет с момента окончания мной бакалавриата филологии Башкирского университета. Такую паузу, думаю, можно считать достаточной, чтобы назвать вещи своими именами на трезвую голову, не поддаваясь сиюминутным впечатлениям.

Прежде всего, я старался быть объективен и правдив. В результате получились жестокие и неблагодарные оценки. Сам я без сочувствия смотрю на чужую неблагодарность. Но здесь успокаиваю себя тем, что своих настоящих учителей я нашёл позже и уже не в родном университете. Настоящих учителей, а не притворявшихся знатоками людей, давно потерявших интерес к тому, что они делают. На меня можно обижаться, но у меня самого права на обиду больше: будучи студентом я искренне хотел учиться (и мой красный диплом, наверное, хотя бы в какой-то мере служит этому подтверждением), но, видимо, не все преподаватели были к этому готовы.

У меня нет претензий к тем, кто вёл непрофильные предметы, я не считаю себя в праве оценивать их уровень (хотя и там, как это всегда бывает, можно вспомнить целый ворох курьёзов), и поэтому говорю только о собственно филологических дисциплинах. И для меня филологический факультет стал хорошей школой негативных примеров. Это действительно ценный опыт. Я не хотел бы быть для своих студентов таким же халтурщиком, оставшимся в ушедшей эпохе, и буду стараться не стать таким же, как те, кто учил меня.